

ГОГОЛЬ В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ДОСТОЕВСКОГО

«Поворот» от Гоголя к Достоевскому — одна из ключевых проблем истории русской литературы. Уже в критике 1840-х гг. сложились две противоположные точки зрения относительно зависимости молодого писателя от гениального предшественника. На творческой преемственности настаивал поначалу В. Г. Белинский: «В таланте г. Достоевского так много самостоятельности, что это теперь очевидное влияние на него Гоголя, вероятно, не будет продолжительно (...) хотя тем не менее Гоголь навсегда останется, так сказать, его отцом по творчеству».¹ Критики славянофильской ориентации (К. Аксаков, С. Шевырев, ранний Ап. Григорьев) убеждены были, напротив, в эпигонском характере подражания Гоголю в «Бедных людях», «Двойнике». После разрыва Достоевского с Белинским это мнение возобладало и в кружке «Современника». По свидетельству Д. В. Григоровича, у Достоевского искали и находили «на каждой странице влияние Гоголя».² Отчасти в полемике с этой точкой зрения В. Н. Майков выразил мысль о «высшей степени оригинальности» Достоевского и противопоставил молодого писателя его знаменитому современнику: «Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский — по преимуществу психологический».³

Впоследствии противопоставление Достоевского Гоголю было проведено почвеннической критикой. 19 октября 1861 г. Ап. Григорьев в письме Н. Н. Стрехову сравнивал Гоголя с Достоевским не в пользу первого.⁴ В 1881 г. адресат этого письма заявит, что Достоевский первым сделал «смелую и решительную поправку Гоголя, существенный, глубокий поворот в нашей литературе».⁵ Еще через десять лет сравнение Гоголя с Достоевским привело В. Розанова к окончательному «развенчанию» автора «Шинели». Традицию противопоставления Гоголя и Достоевского как художников слова Розанов перевел в русло духовно-философских ориентаций. Достоевский был объявлен родоначальником преодоления гоголевского «бездушия» в русской литературе.⁶

¹ Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 8. С. 128—129.

² Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М.; Л., 1961. С. 92.

³ Майков В. Н. Литературная критика. Л., 1985. С. 180.

⁴ А. А. Григорьев. Материалы для биографии. Пг., 1917. С. 284.

⁵ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 62 (3-й паг.).

⁶ Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 53.

Точка зрения Розанова эстетически некорректна: условные формы сатирического искусства в его толковании приобретали не свойственную им экзистенциальную репрезентативность. Опасность иссушающего душу смеха действительно существовала (как известно, этого боялся и сам Гоголь, в поздние годы склонявшийся даже к самоосуждению), эту опасность замечал и Достоевский (см.: 19, 12; 20, 170), однако, в отличие от своего апологета (Розанова), Достоевский видел трагическое в подоплеке гоголевского юмора (18, 59). Розанов вычленил лишь одну сторону гоголевского гения, утратив то целостное восприятие, что было свойственно Достоевскому.⁷ В значительной мере это была реакция на предпочтении «социального» Гоголя в так называемой реальной критике.

Дуализм розановского прочтения Гоголя получил развитие в символистской и религиозно-философской критике (Д. Мережковский, В. Брюсов, А. Белый, Вяч. Иванов, Н. Бердяев, К. Мочульский). Акцент на «борьбе» Достоевского с Гоголем был сделан и в трудах литературоведов, предпочитавших «идеям» — художественно-словесную «материю» (Ю. Тынянов, А. Бем, до некоторой степени — М. Бахтин, В. Виноградов). В начале нового века так или иначе возобладала представления об истории культуры как череде «революций». В современной науке такой взгляд на «переход от Гоголя к Достоевскому» начинает изживать себя.⁸ Так, С. Г. Бочаров отмечал: «Этот акцент на „преодоление“, остро подчеркивая „новое слово“ Достоевского, заслонял в то же время другую сторону дела — глубокую подготовку этого слова в недрах гоголевского творчества...».⁹ Акцентирование «другой стороны дела», ранее убедительно представленной в лингвистических анализах В. В. Виноградова (большой материал, им собранный, противоречил общепринятой установке на «борьбу», от которой не свободен в своих конечных выводах и сам исследователь), заметно, в плане характерологии Гоголя и Достоевского, в работах Ю. В. Манна.¹⁰ Необходимость посмотреть на историю русской литературы XIX в. как «движение к синтезу (...) на основе творческого освоения и использования всех ее ценных и плодотворных национальных и художественных истоков» была заявлена также Г. М. Фридендером, предложившим возвратиться к вопросу об «органически усвоенной им (Достоевским. — В. В.) традиции Гоголя».¹¹

⁷ См.: Jackson R. L. Two views of Gogol' and the critical synthesis: Belinskij, Rozanov and Dostoevskij: An essay in literary-historical criticism // Russian literature. 1984. Vol. 15, N 2.

⁸ За некоторым, разумеется, исключением. Так, известный исследователь раннего Достоевского пришел к выводу, представляющему крайнее выражение концепции «борьбы»: первые произведения Достоевского были всего лишь «полюсически-пародийным диалогом с Гоголем», критическими вариациями на литературные темы, а не оригинальными вымыслами (Terras В. «Шинель» Гоголя в критике молодого Достоевского // Зап. Русской академической группы в США. Нью-Йорк. 1984. Т. 17. С. 75).

⁹ Бочаров С. Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Гоголь: История и современность. М., 1985. С. 210. Ср.: Бочаров С. Г. Переход от Гоголя к Достоевскому // Смена литературных стилей. М., 1974.

¹⁰ См. особенно статью «Метаморфозы литературного героя» в кн.: Манн Ю. В. Диалектика художественного образа. М., 1987.

¹¹ Фридендер Г. М. Достоевский и Гоголь // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1987. Т. 7. С. 4. См.: Фридендер Г. М. От «Мертвых душ» к «Братьям Карамазовым» // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1996. Т. 13. С. 16—22.

Принципиальное значение имеет с этой точки зрения давняя статья В. В. Зеньковского «Гоголь и Достоевский». Исследователь, расходясь с общим мнением, заявил, что «нет в русской литературе более близких между собой писателей и мыслителей, чем Гоголь и Достоевский», и что «в целом ряде самых важных своих идей Достоевский был уже предварен Гоголем».¹² В связи с этим В. В. Зеньковский призвал пересмотреть сложившиеся стереотипы (отчасти и послужившие благодатной почвой для «бунта» Розанова, в сущности, лишь поменявшего ценностные знаки): «В свете образов и идей, выдвинутых Достоевским, многое по-новому нужно истолковать и в Гоголе».¹³ Ученый предложил позаимствовать у естественных наук так называемый регрессивный метод исследования: «...в изучении организмов надо исходить из наиболее дифференцированных форм, чтобы в свете их понимать то, что в менее расчлененной форме с трудом поддается анализу».¹⁴ Достоевского в подобного рода исследовании следует трактовать как своеобразное дифференцирование интеграла (Гоголя). О чем, собственно, первым писал... сам Достоевский, передавая в письме к брату от 1 февраля 1846 г. мнение «Белинского и прочих» (как нетрудно предположить, давая это мнение в собственной интерпретации): «Во мне находят новую оригинальную струю (...) состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое...» (28, 118). Отстаивая собственную оригинальность, молодой Достоевский, как видим, представлял свой путь и путь Гоголя как разные, но ведущие к подразумеваемой общей цели.

* * *

Достоевский как критик, как мыслитель внес существенный вклад в разрешение вопроса о месте Гоголя в истории русской литературы, о природе его дарования.

Автор «Бедных людей» знал, конечно, о полемике Белинского и К. Аксакова вокруг «Мертвых душ», полемике, в которой обозначились два противоположных мировоззрения. Критик-славянофил видел в поэме Гоголя приятие жизни, выражение «субстанциального, вечного» в национальном бытии. К. Аксаков, следует отдать ему должное, глубоко проник в тайники творческого сознания писателя, сформулировав смысл его произведения как «акта творчества».¹⁵ Открытое им «созерцание» Аксаков перенес и на поэму как завершенное слово, явленное читателю. Этот перенос и был подвергнут резкой критике Белинским, оценившим сверхтекстовое видение Аксакова как всего лишь безжизненную абстракцию, теоретизм.

К. Аксаков имел свои основания утверждать: «...на какой бы низкой ступени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека,

¹² Зеньковский В. В. Гоголь и Достоевский // О Достоевском. Прага, 1929. Сб. 1. С. 65.

¹³ Там же. С. 75.

¹⁴ Там же. С. 76.

¹⁵ Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981. С. 148.

своего брата, созданного по образу и подобию Божию», даже если это Иван Федорович Шпонька, Манилов, Плюшкин, везде у Гоголя «всесторонность, истина и вместе полнота жизни».¹⁶ Белинский, и сам когда-то писавший о полноте жизни у Гоголя (например, о сочувствии его старосветским помещикам), о «беспристрастии»,¹⁷ теперь осмелял Аксакова, отказавшись видеть в «дуре Коробочке», в «буйволе Собакевиче», в «сентиментальной размазне Манилове» участие к ним автора.¹⁸ Пафос поэмы Гоголя виделся Белинскому не в положительном созерцании, а в «беспощадном сдергивании покровов с действительности», соединяющемся, правда, с «любовию к плодovитому зерну русской жизни».¹⁹

Какое из этих двух прочтений Гоголя было ближе Достоевскому, можно догадываться. Как реплика в споре о мере участливости Гоголя в отношении своих героев может быть воспринято все, что говорит Макар Девушкин о гоголевской «Шинели», выразившей как будто наибольшую степень сочувствия автора к герою, программно заявленного в знаменитом «гуманном месте». Пригласив участвовать в литературном споре самого «бедного человека», Достоевский с этой последней точки зрения не видит в фактуре художественного изображения человека у Гоголя того представления об «образе и подобию Божиим», которое прочел Аксаков. Макар Девушкин в качестве «критика» оказался в самом средостении полемики; он, по воле автора, наткнулся на глубинную коллизию художественного мира Гоголя. Положительное созерцание Божьего творения, о коем хлопотал Аксаков, несомненно вдохновляло Гоголя и входило в создаваемую им картину мира, но лишь в сфере автора, а не в сфере героя. Это образовывало весьма напряженный потенциал, вовлекающий в свое поле третьего участника — читателя. Последний испытывал негодование, досаду, как Макар Девушкин, или собственным творческим усилием восполнял прерванную гармонию бытия, как К. Аксаков.

Молодой Достоевский, таким образом, оказывался скорее сторонником Белинского, чем К. Аксакова, но сторонником далеко не абсолютным. Так, очевидно, что предпочтение, отданное Белинским «социальному» Гоголю перед «идеальным» Пушкиным, автором «Бедных людей» было дезавуировано — мягко, но решительно. О неполном согласии с Белинским свидетельствовало и сближение Достоевского с критиком В. Н. Майковым, занявшим в указанном споре промежуточную позицию.²⁰

Последователи Белинского (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, А. П. Милюков) значительно утрировали представление о гоголевском направлении как преимущественно «отрицательном». С другой стороны, критика «эстетическая» взяла под защиту от интервенции «дидактиков» Гоголя как выразителя «вечных истин». «Гоголь не есть

¹⁶ Там же. С. 147, 148.

¹⁷ Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 1. С. 169, 175.

¹⁸ Там же. Т. 5. С. 59.

¹⁹ Там же. Т. 1. С. 51.

²⁰ См.: Майков В. Н. Сто рисунков из сочинения Н. В. Гоголя «Мертвые души» // Майков В. Н. Литературная критика. С. 312—314.

поэт отрицания», — утверждала она, отделяя Гоголя от гоголевской школы.²¹

В истории гоголевского вопроса, над которым билась русская критика, особенное место занимает А. А. Григорьев. Начав как апологет Гоголя, но не гоголевского направления, Григорьев во многом оказывался продолжателем идей, высказанных К. Аксаковым (хотя как ранний Достоевский не был однозначно сторонником Белинского, так и ранний Григорьев не был однозначно славянофилом). Решительный поворот в осмыслении Гоголя был сделан Григорьевым в статьях «Русская литература в 1851 году» и «Русская изящная литература в 1852 году». Критик утверждал в них Гоголя с его «карающим смехом во имя вечной красоты и правды» как «исходную точку» всей русской литературы.²² В отличие от Белинского и его последователей, Григорьев тогда призвал увидеть многосторонность гоголевского таланта: «Разве он, этот беспощадный каратель, не призван был также рисовать Аннуциату и Тараса Бульбу...».²³ Отвергнув точку зрения Белинского, Григорьев не вполне сошелся и с воззрением К. Аксакова, обозначив пафос Гоголя не как положительное созерцание, а как «страшную силу юмора». «Все суровее и суровее смотрел он на жизнь, — все смелее и смелее разоблачал он человеческое во имя идеала».²⁴ В этих словах больше от Белинского, чем от Аксакова, и действительно: в критике Григорьева вызревало новое отношение к Гоголю, которое окончательно оформилось к концу 50-х гг., когда обрели законченность почвеннические убеждения критика. Он как бы вернулся к Белинскому и принял формулу «отрицательности» Гоголя, но не в социальном аспекте, а прежде всего как выражение исторически необходимого момента в развитии национального самосознания: «...явились новые художественные силы в лице Гоголя. Поэзия ответила живыми образами на требования жизни. Пусть эти образы были только отрицательные: в их отрицательности сказались новые силы жизни, силы отвергнуть все формы, оказавшиеся несостоятельными (...) Таков был ответ поэзии на требование уснокоений и примирений. Это был протест...».²⁵

Вывод, к которому пришел Григорьев в свой почвеннический период, отозвался у Достоевского, заново входившего тогда в литературу. В 1864 г., т. е. через три года после публикации приведенного выше суждения Григорьева, Достоевский следующим образом выскажется об одном национальном русском свойстве: «...эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрина и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительнейшая литература времен очаковских и покоренья Крыма» (20, 22).

Совпадение с поздним Григорьевым в оценке «отрицательности» Гоголя не было случайным. Дело в том, что означенный поворот в

²¹ Дружинин А. В. Литературная критика. М., 1983. С. 168.

²² Григорьев А. Литературная критика. М., 1967. С. 43, 47. Ср. чуть более поздний замысел Достоевского критически рассмотреть «идею нашей литературы» начиная с Гоголя (20, 153), замысел, от которого автор вскоре отказался.

²³ Григорьев А. Литературная критика. С. 43.

²⁴ Там же. С. 43—44.

²⁵ Там же. С. 239.

понятиях критика во многом протекал на глазах сблизившегося с ним в начале 60-х гг. Достоевского. Возможно, что Достоевский, один из руководителей журнала «Время», где тогда печатался Григорьев, был соучастником этого процесса нового осмысления Гоголя. Во всяком случае, имя Достоевского тогда же вовлекается Григорьевым в происходившую в его сознании переоценку ценностей.²⁶

Инициатором переоценки Гоголя в почвеннической критике, как нам представляется, был Григорьев, Достоевский подхватывал и взращивал брошенные соратником семена.

«Среди комиков новой истории, — писал Григорьев, — Гоголю нет равных по „страшной силе юмора“».²⁷ Эта мысль, во многом идущая от Белинского, в то же время дезавуировала известные суждения критика, отказавшего Гоголю во «всемирно-историческом» значении.²⁸ Достоевский впоследствии с энтузиазмом подхватит мысль Григорьева о первенстве Гоголя-юмориста в мировой литературе (19, 12; 24, 305). Вслед за Григорьевым заявив о «страшном могуществе смеха» Гоголя, Достоевский еще более усилил мысль предшественника: формулируя свой парадокс о Гоголе («смеялся всю жизнь и над собой и над нами»), он назвал его «демоном» (18, 59). Слова эти были напечатаны в январском номере журнала «Время» 1861 г., а уже в апрельском выпуске «Светоча» за тот же год Григорьев в свою очередь подхватывает понравившийся ему образ: Гоголь, утверждает он, «был постоянно обладаем демоном юмора».²⁹

Приведенные факты свидетельствуют безусловно о сближении литературных позиций Достоевского и Григорьева в начале 60-х гг.: Достоевский принимает и развивает новый взгляд А. Григорьева на Гоголя,³⁰ своеобразно контаминирующий воззрения противоборствовавших толкователей великого писателя (К. Аксакова, Белинского, «эстетической» критики).

Достоевский следует за Григорьевым и в оценке Гоголя периода «Выбранных мест из переписки с друзьями».

В 1859 г. изобретатель органической критики писал: «Творец Акакия Акакиевича с тем вместе и жарко чувствует красоту Аннуциаты, хотя, по особенному свойству таланта, не в силах создать сам живого образа красоты».³¹ Критик тем самым порвал со славянофильствующими почитателями Гоголя, когда-то утверждавшими (и Григорьев тогда с ними соглашался) совершенно обратное: что у автора «Мертвых душ» не «односторонний талант комика», и он способен передать в художественном слове «все великое и прекрасное нашей русской жизни».³²

²⁶ См. упоминавшееся уже письмо к Н. Н. Страху от 19 октября 1861 г. Ср.: Григорьев А. Литературная критика. С. 430.

²⁷ Там же. С. 44.

²⁸ Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 5. С. 60—61.

²⁹ Григорьев А. Литературная критика. С. 429.

³⁰ Еще один пример варьирования Достоевским наблюдений Григорьева — его рассуждения о типичности Подколесина в «Идиоте» (8, 383); ср.: Григорьев А. Литературная критика. С. 45.

³¹ Григорьев А. Литературная критика. С. 191.

³² Шевырев С. П. Критический перечень произведений русской словесности за 1842 год // Москвитин. 1843. № 1. С. 285.

Через два года Достоевский вторит своему соратнику: «Гоголь умирает (...) уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не смеяться» (19, 12).

Еще через год к этой же мысли вновь возвращается Григорьев, печатая, теперь уже вслед за Достоевским, во «Времени»: «...великий отрицатель мог только сочинять, выдумывать положительные стороны быта и жизни».³³

Так, поддерживая друг друга, два ведущих критика «Времени» вырабатывали позицию поученнического журнала в отношении к гоголевскому вопросу в русской литературе. Позднее, возвращаясь к нему, Достоевский скажет о попытках писателя «дать положительное»: «Гоголь ужасен» (24, 304). К этой теме Достоевский вернется в 70-е гг. в «Дневнике писателя», правда, соблюдая некоторую осторожность (оставляя в черновиках все резкие суждения, в том числе вышеприведенное). Самый жанр «Дневника писателя», исповедально-проповеднический, с его сверхзадачей выразить «положительную сторону русской самостоятельности» (Там же), как это осознавал и сам Достоевский, вел его к осмыслению опыта Гоголя.³⁴

Достоевского отталкивали некоторые человеческие качества автора «Выбранных мест...», невольно проявившиеся в его последних сочинениях, то, что Достоевский назвал «подпольем» Гоголя. Опять же — не можем не отметить — это отвращение к некоторым личностным качествам писателя Достоевский разделял с поздним Григорьевым, открывшим для себя «дьявольский эгоизм» Гоголя³⁵ после публикации переписки последнего в изданиях П. А. Кулиша.³⁶ Очевидно, тот же путь прошел тогда и Достоевский, его отношение к личности Гоголя нашло себе выход в «Селе Степанчикове и его обитателях» (1859). Впервые отметивший этот факт Ю. Н. Тынянов³⁷ чрезмерно преувеличил момент пародирования «Выбранных мест из переписки с друзьями» в «Селе Степанчикове...». Точнее было бы сказать, что объектом пародии был не один Гоголь: объект этот в изображении Достоевского имел склонность к расширению смысла. Отмечено, что в Опискине однажды отозвались и литературные амбиции Н. А. Полевого (см.: 3, 511). В словах Фомы: «К вам теперь обращаюсь, домашние (...) любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью» (3, 137) — просвечивают узнаваемые формулы проповедей Христа.³⁸

³³ Григорьев А. П. Литературная критика. С. 457.

³⁴ На это обратили внимание либерально настроенные современники Достоевского, равно отвергшие и «Выбранные места...», и «Дневник писателя». См., например: Коломенский Кандид [Михневич В. О.]. Автор «Переписки с друзьями», воскресший в г. Достоевском: Литературно-патологическая параллель // Новости и биржевая газета. 1880. 19 авг.

³⁵ См. письмо Григорьева Е. Н. Эдельсону от 16 ноября 1857 г.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии. С. 187.

³⁶ Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2 т. СПб., 1856; Сочинения и письма Н. В. Гоголя. СПб., 1857. Т. 6.

³⁷ См.: Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь: К теории пародии. Пг., 1921.

³⁸ О другом библейском отзвуке в речах Фомы см. также: Лотман Л. М. О литературном подтексте одного из эпизодов повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1996. Т. 12. С. 76—77.

Опискинские максимы иногда вполне созвучны и убеждениям самого Достоевского, например: «...несчастье есть, может быть, мать добродетели» (3, 153), — мысль, любимая Гоголем, идущая, очевидно, от «Подражания Христу» Ф. Кемпийского, а впоследствии многократно повторяемая самим Достоевским (необходимость страданий). Здесь пародируется уже не Гоголь, и не Христос, и не Достоевский, а проповедничество как таковое, в своем «чистом», отвлеченном от личности проповедника виде. Белые одежды мог напялить на себя и Фома Опискин.

Очевидно, сильное впечатление на Достоевского, как и на Григорьева, во второй половине 1850-х гг. произвели публикации неизвестных ранее писем Гоголя и мемуаров о нем, из которых открылась личность писателя во всей ее противоречивости. Поэтому более вероятным первоотчетчиком к созданию «гоголевских» черт Фомы Опискина следует считать знакомство Достоевского с этими новыми материалами (в основном вошедшими в издания П. А. Кулиша), а не известные ему и раньше «Выбранные места...». Вообще говоря, на творческий процесс писателя куда более сильное и непосредственное действие оказывали живые впечатления от только что прочитанного, чем воспоминания о когда-то читанном. Знал и Григорьев до 1857 г. «Выбранные места...» (и с восторгом их принимал), но только знакомство с новыми данными о Гоголе, а затем, возможно, перечитывание «Выбранных мест...» под новым углом зрения привели его к переоценке ценностей.

Позднее Достоевский запишет: «М. Гоголь. И рядом с гениальным ореолом выставилась чрезвычайно противная фигурка» (24, 306). Это сказано, очевидно, о новом «открытии» Гоголя во второй половине 50-х гг. после кулишевских изданий и других публикаций. Не последнюю роль сыграли тогда «Воспоминания о Гоголе» П. В. Анненкова. Например, мемуарист рассказал, как однажды, проезжая через Москву, Гоголь «на заставе устроил дело так, чтобы прописаться и попасть в „Московские ведомости“ не „коллежским регистратором“, каковым был, а „коллежским ассессором“».³⁹ Возможно, следы чтения Анненкова сказались в известных рассуждениях Достоевского о том, что Гоголь «ходил в золотом фраке (...) С „Мертвых душ“ он вынул давно сшитый фрак и надел его» (25, 240 и след.).⁴⁰ Предположение Достоевского, что упоминаемая в «Завещании» Гоголя «Прощальная повесть» была всего лишь мистификацией, «враньем» (16, 330), возможно, опирается и на прецедент, сообщенный в тех же мемуарах.⁴¹

Неприятие личности гениального писателя сохранялось у Достоевского до конца жизни, тем не менее в 1877 г., излив гнев на Гоголя, «не вынесшего величия», Достоевский нашел в себе силы сказать о «Выбранных местах...»: «Много искреннего в переписке. Много высшего было в этой натуре, и плох тот реалист, который подметит лишь уклонения» (25, 241).

³⁹ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 57.

⁴⁰ Ср.: «Первые главы „Мертвых душ“ были уже им написаны, и однажды вечером явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами, с какого-то обеда...» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 38).

⁴¹ Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 95.

Что же «искреннего» и даже «высшего» мог найти Достоевский в последней книге Гоголя? Прежде всего, очевидно, рецепт спасения русского общества через духовное возрождение. Гоголь выделял три ключевых момента в возможном нравственном очищении нации: семья и в особенности нравственная красота русской женщины, искусство и сила эстетически выраженной красоты, церковь и проповедуемая ею духовная красота светлого облика Христа.⁴²

Одно из важнейших правил художника, сформулированных в «Выбранных местах...», нашло, на наш взгляд, прямой отклик у Достоевского. 3 ноября 1857 г. (т. е. именно в то время, когда перечитывался и переоценивался Гоголь автором будущего «Села Степанчиково...») Достоевский пишет брату: «...я положил и поклялся, что теперь ничего необдуманного, ничего незрелого (...) не напечатает, что художественным произведением шутить нельзя, что надобно работать честно...» (281, 288). Эти слова — возможно, парафраз на тему Гоголя, который в главе IV «Выбранных мест...» «О том, что такое слово» писал: «Обращаться с словом нужно честно (...) Беда произносить его писателю в те поры (...) когда не пришла еще в стройность его собственная душа...».⁴³ Позднее в «Братьях Карамазовых» в речи прокурора отчетливо всплывает гоголевская фраза: «...со словом, господа присяжные, надо обращаться честно...» (15, 169).⁴⁴

Еще один эпизод из «Выбранных мест...» можно прибавить к несомненно отозвавшимся у Достоевского. Это рассуждение в главе «О лиризме наших поэтов» в связи с призывом Пушкина «милости к падшим», «несчастливым»: «Черта истинно русская. Вспомни только то умиленное зрелище, какое представляет посещение всем народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь, когда всяк несет от себя — кто пишу, кто деньги, кто христиански-утешительное слово. Ненависти нет к преступнику, нет также и донкихотского порыва сделать из него героя, собирать его факсимили, портреты (...) Здесь что-то более: не желание оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упавший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга».⁴⁵

Очевидно, сколь важные для Достоевского мысли предупреждены в этом отрывке (ср.: 21, 17—18).⁴⁶ Число таковых можно умножить, но не в отдельных, пусть очень значительных совпадениях заключалось освоение Достоевским духовного опыта автора «Выбранных мест...». Пафос этой книги, ее внутренний сюжет — движение человека современного секуляризованного мира к идеалу Христа, как бы воз-

⁴² О воздействии религиозных идей «Выбранных мест...» на Достоевского см. цитируемые здесь работы В. В. Зеньковского, а также: Чижевский Д. И. Незвестный Гоголь // Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995. С. 217.

⁴³ Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1978. Т. 6. С. 198. В 1862 г. во «Времени» это место также цитировал Григорьев (см.: Григорьев А. Литературная критика. С. 461. Ср.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии. С. 106).

⁴⁴ Оба приведенных случая цитирования Достоевским Гоголя не отмечены в комментариях к Полному собранию сочинений Достоевского.

⁴⁵ Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 6. С. 226.

⁴⁶ Также обобщенном вниманием комментаторов Достоевского.

вращение блудного сына.⁴⁷ Это движение несомненно составляло и духовную фабулу жизни Достоевского, однако путь Гоголя, взятый в конкретных его ориентирах, а не в конечной цели, представлялся Достоевскому ложным. Его настораживали «облака величия», в которые «заволакивался» писатель-моралист (30, 227). Дело было не в одном способе выражения, которое сам Гоголь признал причиной неудачи «Выбранных мест...».⁴⁸ Взяв на себя учительскую миссию, Гоголь неумеренно возвысился над читательской «паствой»; возмнив себя пророком, он впал в «прелесть». Вероятно, по этой причине Достоевский осудил предшественника: «Идеал Гоголя странен: в подкладке его христианство, но христианство его не есть христианство» (24, 303—304).

Поздний Гоголь был нужен Достоевскому как опыт преодоления раздвоенности русской культуры, перехода из секулярной ветви ее в христианскую.⁴⁹ Гоголь вслед за Пушкиным ощущал эту раздвоенность культуры, но, в отличие от Пушкина, весьма болезненно.⁵⁰ Пушкин нашел естественный путь преодоления разрыва: оставаясь человеком своей субкультуры, он примирил в себе секуляризованное художество с христианской духовностью. Гоголь же, отрекшись от субкультуры, породившей его как художника, не стал в то же время органической частью той субкультуры (православие), к которой устремлены были волевые усилия его духа в последние годы жизни.

Достоевский, осмыслив духовный опыт автора «Выбранных мест...», продолжил его искания. Его вариации образа «положительно-прекрасного человека», а также формирование литературно-проповеднического жанра «Дневника писателя» — исполнение задач, поставленных перед русской литературой Гоголем. Тень Гоголя, его трагических усилий витает над следующими словами Достоевского о замысле образа Зосимы: «Если удастся, то сделаю дело хорошее: *заставлю сознаться*, что чистый, идеальный христианин — дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее...» (30, 68).

* * *

Художественный мир Достоевского с самого начала складывался как мир трагический. Семнадцатилетний автор страдает от мысли о раздвоенности человеческой природы, являющейся «слияньем неба с

⁴⁷ Ср.: «Гоголь — первый у нас пророк возврата к целостной религиозной культуре, — пророк православной культуры» (Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. Париж, 1955. С. 55).

⁴⁸ Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 6. С. 422.

⁴⁹ См.: Зеньковский В. В. Н. В. Гоголь. Париж, б. г. (перезд.: Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н. В. Гоголь. СПб., 1994).

⁵⁰ Ср. наблюдение современного исследователя: «Гоголь тем более дидактичен в книге («Выбранные места...». — В. В.), чем больше внутренней смуты, душевного нестроения ощущает в себе» (Анненкова Е. Православие в историко-культурной концепции А. С. Хомякова и в творческом сознании Н. В. Гоголя // Вопросы литературы. 1991. № 8. С. 98). См. также работы К. А. Степаняна, например: Гоголь в «Дневнике писателя» Достоевского // Достоевский и мировая культура: Альманах № 7. М., 1996.

землею» при побеждающем втором начале, разрушающем чистоту «духовной природы»: «Мне кажется, мир принял значение отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира» (28, 50). Выраженное в этих словах движение от «романтического» к «реальному» характерно вообще для литературной эпохи.⁵¹

Соотношение эстетических полюсов «романтизма» и «натурализма» в гоголевском творчестве присутствовало не только в диахроническом аспекте. В синхроническом плане его зрелая проза находится в поле напряжения между полюсами. Так, каждая из петербургских повестей тяготеет к одному из них (например, «Шинель» — «Портрет», «Колыска» — «Рим»), но напряжение между полюсами есть и внутри каждой. Точно так же произведения молодого Достоевского можно классифицировать по степени тяготения к одному из названных начал, причем его эволюция протекает в направлении, обратном гоголевскому: от «Бедных людей» к «Хозяйке», т. е. от позднего Гоголя («Шинель») к раннему («Страшная месть»). Создается впечатление, что Достоевский шел по всем кругам, пройденным уже Гоголем, но только в обратном направлении: его «романтизм» вышел из его «реализма».

Литературный дебют Достоевского был воспринят некоторыми современниками как явление «нового Гоголя» (25, 30). Заставить героя типа Вырина и Башмачкина писать письма к возлюбленной — в этом заключалась «смелость изобретения». Данная художественная идея в свернутом виде содержалась уже у Гоголя в его «Записках сумасшедшего» (наибольшую близость этой повести Достоевскому заметили еще Майков и Белинский) — в самой форме записок Поприщина и в сочиненной им же собачьей переписке. Перелистчик чужих бумаг пытался стать автором, сочинителем; у Гоголя этот факт — гротескное предположение, столь же вероятное, как приключения Носа. Повествовательная форма «Записок сумасшедшего», скорее, ироническая фантастика, впрочем, в какой-то момент переходящая в фантастику трагическую — когда, чуть не с небес, раздается голос героя, его страдающего Я («Матушка, спаси твоего бедного сына! (...) ему нет места на свете!»). Этот-то прорвавшийся субстанциальный голос и «достал» Достоевского: из одного гоголевского эпизода вышел целый роман (близость произвольных финалов «Записок сумасшедшего» и «Бедных людей» заметил еще Ал. Григорьев). Достоевский в данном случае не просто заимствовал — он развернул мотив, заданный Гоголем, перевел его в иную плоскость (из гротесково-фантастической в «реальную»).

Наиболее очевидна в «Бедных людях» творческая преемственность с повестью «Шинель». Многих писавших на эту тему завоорожила полемика Макара Девушкина, которую он ведет с автором «Шинели». Между тем это лишь самый верхний слой соотношений художественных миров. В сюжетном плане «Бедные люди» скорее повторяли движение героя «Шинели» от приниженной покорности, стертости личности (как говорит герой Достоевского: «...я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было» — 1, 92) к возмущению против

⁵¹ См.: Fanger D. Dostoevsky and romantic realism: A study of Dostoevsky in relation to Balzac, Dickens and Gogol. Cambridge (Mass.), 1965.

«злых людей» в защиту собственного человеческого достоинства. Фантастическое предположение Гоголя сбылось в «реальности», описанной Достоевским. Получалось, что Девушкин, ослепив Гоголя, в то же время повторил, в иной плоскости, путь его героя. «Бедные люди» — это история пробуждения живой души, только не условно-фантастическая, а натуральная («...а как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную (...) и узнал, что и я не хуже других (...) что сердцем и мыслями я человек» — 1, 82).

Достоевский по-своему подхватывает и тему овеществления души, всепроникающую у Гоголя, и в частности в «Шинели» (мотив «сапог», соотношенный с мотивом «шинели»). Вещность гоголевского мира Достоевским осмыслена, с одной стороны, как проявление трагической безысходности, униженности бедного человека, а с другой — как свободный выбор «богатейшего лица», но «злого», также оказывающегося «сапожником» (1, 89). Достоевский развивает тему, заданную Гоголем, переводя ее в план трагического или морального выбора (одним «идти некуда» — 1, 30, другие не находят в себе сил подняться над «сапогами»). Эта последняя тема — выбора — в «Шинели» лишь намечена в истории «значительного лица», а у Достоевского усилена и обнажена примерно так, как у Гоголя, но в других повестях — «Невском проспекте» и «Портрете». То, что у Гоголя существовало в разных, отчасти соотношенных художественных автономиях, Достоевский совмещал в пространстве одного произведения. Его «Бедные люди» — не парафраз на тему «Шинели», скорее уж, на темы петербургских повестей Гоголя вообще — всех вместе, сведенных в единое художественное измерение, в котором обнаруживается скрытый доселе потенциал. Поэтому первый роман Достоевского — это продолжение мира Гоголя в целом, а не одной только «Шинели».

В «Двойнике» зависимость от Гоголя становится едва ли не чрезмерной и нарочитой, вызывая подозрение в «передразнивании». Сама по себе сказовая форма этой «петербургской поэмы» генетически восходит к гоголевской прозе с ее театром стилей, но при этом и гоголевская манера становится в свою очередь одним из объектов пародирования, стилиевой игры. «Двойник», взятый на лингвостилистическом уровне (что хорошо показал В. В. Виноградов), — это как бы игра в Гоголя. Переходя же на уровень сюжетный, эта игра дает неожиданно серьезный поворот. В сюжетном плане господин Голядкин разыгрывает фабульную партитуру «Записок сумасшедшего» (на мотив «он был титулярный советник, она генеральская дочь») и одновременно Достоевского, в присущей ему манере, стыкуются и в ходе этой операции обнаруживают скрытый доселе потенциал взаимодополнительности.

Начало повести, сюжетный дебют господина Голядкина, напоминает начало «Мертвых душ» (появление Чичикова в губернском городе) «тщательным описанием всех движений, всех форм моторной экспрессии героя — в их хронологической последовательности»⁵² и, добавим

⁵² Виноградов В. В. Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 108.

от себя, в их таинственности, загадочности для читателя. И у Гоголя, и у Достоевского этот прием производит впечатление избыточной мелочности. Так, Чичиков, осуществляя разведывательную вылазку в город, в какой-то момент «посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности».⁵³ Подобная избыточность мелкой подробности у Гоголя многозначительна, она намекает на некий пока еще не проявленный смысл. Возможно, перед нами «репетиция» кульминационного эпизода встречи с губернаторской дочкой.

Достоевский столь же избыточно подробно описывает тщательные сборы господина Голядкина, выезд его в странном экипаже. Вот герой прохаживается по Гостиному двору, прицениваясь и даже заказывая товары, явно ему не по карману. Чичиковский элемент (тщательная подготовка к началу операции, рекогносцировка) неожиданно уступает место «носологическому»: Голядкин в этой сцене «рифмуется» с майором Ковалевым, важно покупающим ленточку не существующего у него ордена. Герой Достоевского в своем поведении объединяет Чичикова и Ковалева, а вместе с ними и Поприщина, если вспомнить фабульное задание этой сцены как репетиции перед завоеванием Клары Олсуфьевны. Достоевский наводит нас на мысль: есть нечто общее у всех трех героев Гоголя — желание играть чужую социальную роль (майора, миллионщика, испанского короля). Проход господина Голядкина по лавкам Гостиного — как бы проход по «гоголевским местам», открывающий глубокий и синтезирующий аспект в гоголевском типе героя.

Мелочность гоголевских описаний кажется читателям гиперболизированно-усредняющей, нивелирующей человеческую личность, «рассыпающуюся» в деталях и «скрепленную» лишь категорией типического. Именно так прочитали Гоголя В. В. Розанов и его последователи. Что же касается Достоевского, то он прочел в Гоголе мелочность, ведущую *внутрь* духовной экзистенции человека.

Мелочные описания в мире Достоевского — путь к философско-экзистенциальной генерализации, к постижению национального характера, что особенно очевидно в малых жанрах («Мужик Марей», «Столетняя», «маленькие картинки» в публицистике Достоевского типа описания картины Маковского «Любители соловьиного пения» — 21, 70—71) и как бы растворяется в глобальных пространствах романного мира Достоевского (например, описание выхода в народ Коли Красоткина — 14, 474—477). Достоевский в известном смысле прошел до конца путь мелочной генерализации, открытый Гоголем для русской литературы. М. Е. Салтыков-Щедрин, один из самых значительных учеников гоголевской школы, имел все основания в 1879 г. назвать Достоевского «одним из наиболее чутких последователей Гоголя».⁵⁴

По воспоминанию А. Е. Ризенкампфа, молодой Достоевский «особенно охотно читал Гоголя и любил произносить наизусть целые страницы из „Мертвых душ“».⁵⁵ Об этом увлечении 40-х гг. позднее

не раз вспоминал и сам Достоевский. Так, о Тургеневе он скажет, что тот «понимал Гоголя, конечно, до тонкости; как все тогда, полагаю, любил его до восторга...» (21, 68). В этой любви-понимании тогда же у Достоевского намечается особый поворот. С. Д. Яновский вспомнил некую речь автора «Бедных людей» на одном дружеском обеде — «об эксплуатации литературного труда Павлом Ивановичем Чичиковым»,⁵⁶ под которым подразумевался издатель А. А. Краевский. Оратор вызвал тогда восторг слушателей своим умением тонко применить гоголевский образ к иным обстоятельствам. Это была не просто пародия, но проявление своеобразного литературного протезизма Достоевского, впоследствии неоднократно им продемонстрированного.

Пример такого рода *применения* мы обнаруживаем в романе «Идиот», где автор заводит речь об «удивительном типе поручика Пирогова» из «Невского проспекта»: «Я всегда горевал, что великий Пирогов взят Гоголем в таком маленьком чине, потому что Пирогов до того самоудовлетворим, что ему нет ничего легче, как вообразить себя (...) полководцем; даже и не вообразить, а просто не сомневаться в этом: произвели в генералы, как же не полководец? (...) А сколько было пироговых между нашими литераторами, учеными, пропагандистами?» (8, 385). Далее в романе Ганечка Иволгин обнаруживает Пирогова в Ипполите, в его «наивности наглости» (8, 393), а впрочем, как может догадаться читатель, и сам Ганя подпадает под этот тип в прочтении его Достоевским. На наших глазах происходит своеобразное *расширение* семантики гоголевского образа путем применения его к новым обстоятельствам и характерам. Достоевский поначалу глубоко вживается в «удивительный тип», а затем, исходя из обретенного видения, *дописывает* первоисточник, привносит в него нечто новое, но органичное для его сути.

К типу Пирогова Достоевский вернется в «Дневнике писателя» 1873 г. в главе «Нечто о вранье». Рассуждение о Пирогове заключает эту главу, в целом же она составляет одну из самых замечательных парафраз Достоевского на гоголевские темы. Вопрос — почему и зачем так часто лжет русский человек — варьирует мотив, не раз возникавший у Гоголя. При чтении Достоевского прежде всего вспоминается Хлестаков: «...у нас могут лгать совершенно даром (...) русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя неприметно (...) и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит...» (21, 117—119). Мелькает тень Ноздрева, когда, скажем, среди излюбленных русским луном тем называются «охотничьи собаки». Ассоциация более сложная и опосредованная — с Пифагором Чертокуцким («Коляска»), чье «неприметное» вранье привело к оглушительному конфузу. Достоевский описывает «пассаж», случившийся с русским вруном: «...не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случившегося, тому же самому лицу, которое вам же его про себя и рассказывало?». Реакция слушателя, становящегося невольным соучастником такого вранья («страдающий взгляд», «нервно-уторопленные учтивости» и т. п.), напоминает знаменитый финал «Коляски»: «А, вы здесь!.. — сказал

⁵³ Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 5. С. 11.

⁵⁴ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1972. Т. 13. С. 776.

⁵⁵ Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1990. Т. 1. С. 187.

⁵⁶ Там же. С. 238.

изумившийся генерал (...) тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокуцкого фартуком...».⁵⁷ Алогичное поведение Чертокуцкого как бы заражает «изумившегося генерала» и невольно им подхвачено, а в результате — взаимный алогизм доходит до размеров едва ли не inferнальных. Очевидно, подобного рода гоголевские «развязки» имел в виду Достоевский: «...от которых и теперь (...) заляешься вдруг самым неудержимым смехом...» (21, 69). Финал «Коляски» отозвался у Достоевского еще в «Двойнике» (Голядкин в карете: «...не я, не я, да и только!» — 1, 113), а затем в «Бесах», в сцене самоубийства Кириллова, когда не выполнивший обещания, «совравший» Кириллов и Петр Верховенский долго и бессмысленно смотрят друг на друга. В главе же «Нечто о вранье» «Дневника писателя» 1873 г. варьирование гоголевской конфузной ситуации более широкое и свободное. Вранье в целом Достоевский трактует как пагубное свойство национального характера, исторически выработавшееся за последние 200 лет. Глубинная причина его — «поштое самоотрицание себя» (21, 120). В этом обобщении Достоевский опирается не только на собственные наблюдения, но и на художественный опыт Гоголя в его целостном выражении, как бы *собирая вместе*, в один национально-психологический тип героев разных произведений: Хлестакова, Ноздрева, Чертокуцкого, Пирогова.

Пироговым, разбором его характера, Достоевский естественным образом завершает свой очерк «Нечто о вранье»: русскому вруну «не стыдно». «Роковую безбрежность» «русской совести» увидел Достоевский в гоголевском герое и с этих позиций позволил себе написать «продолжение»: будучи высечен, Пирогов, по предположению автора «Дневника писателя», «в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяйна, объяснился в любви и сделал формальное предложение». Гоголевского «соавтора» при этом заняла и фигура придуманной им же «старшей дочери хозяйна», принявшей предложение Пирогова: «Бесконечно трагичен образ этой барышни...» (21, 124—125). Внутренний механизм дописывания «за Гоголя» очевиден: Достоевский исходит из характеров, намеченных Гоголем, а затем продлевает их, т. е. вводит в новые, предлагаемые им обстоятельства, тем самым реализуя доселе не востребованные их качества. За смешным у Гоголя Достоевский *угадывает* трагическое.

Подобным же образом в майско-июньском «Дневнике писателя» 1877 г. Достоевский дорисовывает гоголевского Поприщина. Поначалу дается тонкое проникновение в обстоятельства, заданные «Записками сумасшедшего»: «И Поприщин у Гоголя начал ведь с того, что отличился чинкою перьев и был вытребован для сей цели в квартиру его превосходительства, где и увидел директорскую дочку, для которой очинил два пера (...) в самый короткий срок, он уже убежден, что пленил директорскую дочку и что та по нем изнывает (...) Поприщин поступил по своему характеру: он сошел с ума на мечте о том, что он испанский король. И так натурально!» (25, 133). Далее без нажима, почти незаметно Достоевский вписывает в это изложение гоголевской

⁵⁷ Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 3. С. 156.

повести свою мотивацию:⁵⁸ «Что могло оставаться приниженному Поприщину, без связей, без карьеры, без смелости и без всякой инициативы, да еще в то петербургское время, как не броситься в самое отчаянное мечтание и поверить ему?». Прочтение Достоевского в принципе не противоречит гоголевскому сюжету, но предлагаемых им нюансов (безынициативность, т. е. качество, переносящее акцент со «среды» на личность, «петербургское время», т. е., по Достоевскому, начавшаяся с Петра I эпоха беспочвенности) у Гоголя все же не было. Эта плавная переакцентировка образа позволяет Достоевскому перейти затем к описанию «современного Поприщина», который «ни за что в мире не в состоянии поверить, что он такой же самый Поприщин, как и первоначальный, только повторивший тридцать лет спустя». В отличие от «первоначального» Поприщина, его современного двойника увлекает «гаденький мираж (...) хуже даже, чем мечта об испанском престоле» (25, 133), — мечта о всемогуществе анонимщика. Забитый гоголевский Поприщин вырастает под пером Достоевского в агрессивного монстра, «раздраженное самолюбие» расцветает пугающими ядовитыми цветами. Этот пассаж в «Дневнике писателя», вообще говоря, позволяет понять суть метаморфозы, происшедшей с маленьким человеком Гоголя в контексте творчества Достоевского (Девушкин — Голядкин — Опискин — «подпольный»): «раздраженное самолюбие», намеченное у Гоголя на периферии его художественного мира, Достоевский сделал сердцевиной разрабатываемого им литературного типа «подпольного» героя. Художественный акцент перенесен был с несовершенной «среды» на качество личности.

Любопытные свидетельства о литературных «играх» молодого Достоевского оставили мемуаристы. К. А. Трутовский: «Яснее всего сохранилось у меня в памяти то, что он говорил о произведениях Гоголя. Он просто открывал мне глаза и объяснял глубину и значение произведений Гоголя».⁵⁹ С. Д. Яновский: «Гоголя Федор Михайлович никогда не уставал читать и нередко читал его вслух, объясняя и толкуя до мелочей».⁶⁰ «Очень тонкие замечания» о гоголевских характерах, по свидетельству Н. Н. Страхова, Достоевский делал и в 60-е гг.⁶¹

Какими были эти замечания, можно представить, исходя из данных, приведенных выше. Это были *творческие* истолкования. Из них, из своеобразного *сотворчества* с Гоголем выростал его собственный гений. Его дар, обнаруживший себя еще в 40-е гг., был даром *развертывания*, проращивания имеющегося зерна. Благодаря этому Достоевский действительно оказался «новым Гоголем», продленным в новые условия исторического бытия русской культуры. Обновление происходило *в согласии* с имманентной сущностью писателя-предшественника.

Коллекция гоголевских мотивов, оригинально проросших у Достоевского, очевидно, пока не собрана до конца. Добавим в нее одно

⁵⁸ Ср. подмену, произведенную Достоевским ранее, в 1861 г.: Поприщин однажды «вдруг поднял голову и проговорил (...) что он — Гарибальди!» (19, 72).

⁵⁹ Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 173.

⁶⁰ Там же. С. 238.

⁶¹ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 176.

наблюдение, довольно показательное. В «Мертвых душах» описана следующая реакция общества на «миллионера» Чичикова: «Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость, совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получают от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегают ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть попросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик».⁶²

Гоголевский мотив разыгран в лицах в начальном эпизоде романа «Идиот»:

« — Да... как же это? — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого всё лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное, — это того самого Семена Парфеновича Рогожина (...) что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капиталу оставил? (...)»

— Ну чего ему, скажите, пожалуйста! — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин, — ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.

— И буду, и буду ходить.

— Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

— И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!» (8, 9—10).

Достоевский как бы иллюстрирует гоголевское наблюдение и вместе с тем переступает границы мотива, обозначенные у предшественника: он утрирует, доводит до алогизма момент «бескорыстной, чистой подлости» заискивания перед денежным мешком («Жену, детей малых брошу...»). Однако в дописывании Гоголя Достоевский следует за предшественником: «миллион» инфернален, своим преклонением перед ним человек обнаруживает, насколько глубоко овладело его сознанием демоническое обольщение богатством.⁶³

Так из гоголевского источника является в романе добровольный служитель зла Лебедев. Человек, тонко чувствующий границу между добром и злом и сознательно ее переступающий. Поклонение золотому тельцу у Лебедева явно перерастает грань житейской необходимости (он, впрочем, не так уж и беден), он поэт, в равной степени благоговейщий перед «идеалом мадонны» и «идеалом содомским», мелкотравчатый предтеча Ставрогина. Подобострастное служение злой силе совмещается в Лебедеве с горячечно-суетливым почитанием идеала. Он с энтузиазмом толкует Апокалипсис и с тем же энтузиазмом «претворяет» его, он горячо предан князю-Христу и с не меньшим азартом предает его. Он позволяет злу внедриться в собственную душу, хорошо осознавая, что есть зло.

Наблюдение Гоголя, из которого «вырос» Лебедев, у Достоевского перестает быть только «типовым», тип как бы обретает лицо и

⁶² Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 5. С. 151—152.

⁶³ Ср. суждение В. Зеньковского о Чичикове: «Эта зачарованность богатством, эта вера, что нет других реальных сил, реальных точек опоры в жизни, и есть типическая черта современности, ее движущая сила» (Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н. В. Гоголь. С. 237).

личность. Добровольное служение мамоне уже не просто распространенное свойство современного человека, но его сознательный выбор, жизненная позиция.

Человек в мире Гоголя безответствен, он часть космоса с его «однообразными жизненными рядами». Он — *natura naturata*, т. е. не он созидает мир, но мир созидает его. Но вместе с тем у Гоголя живет недовольство таким положением вещей, потребность в ином статусе человеческой личности. Из этой-то потребности, напряженно-трагического потенциала художественного мира Гоголя является впоследствии реальность художественного мира Достоевского. Человек у Достоевского всегда и прежде всего *natura naturans*, он, даже «маленький», несет на себе великую ответственность. Как моралист Гоголь проklamировал христианскую философию ответственности («Страшная месть», «Вечер накануне Ивана Купальи», вторая редакция «Портрета», планы продолжения «Мертвых душ»), но как художник он призван был к созданию «отрицательной» эпопеи, изначальной «Илиады».

Его назначение в русской культуре — стать закваской, будоражить, вызывать встречное движение мысли. Об этом, в силу известной соприродности дарований, лучше всех сказал Достоевский: создания Гоголя «почти дают ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не сейчас; мало того, еще справишься ли когда-нибудь?» (22, 106).

Гоголь в духовном своем развитии двигался в том направлении, где неминуемо должна была состояться «встреча» с Достоевским. Это направление автор «Выбранных мест...» обозначил следующим образом: «...закон Христов можно внести с собой повсюду, даже в стены тюрьмы, и можно исполнять его, пребывая во всяком звании и сословии...».⁶⁴

Ранний Достоевский возрос и воспитался в гоголевской школе, но уже тогда, как мы видели, он не повторял своего учителя в его отдельных достижениях, а синтезировал их. Для него как бы не существовало Гоголя такой-то или такой-то повести, Гоголь был им воспринят во всей целостности его творчества. Впоследствии, когда Достоевский перерос рамки школы, такого рода коррелирующее восприятие позволило ему вновь исходить из целостного творческого опыта предшественника. Достоевский гениально почувствовал потенциал Гоголя и гениально им воспользовался. Если можно так выразиться, Достоевский продолжил не Гоголя как завершенную в себе самой художественную систему, но размыкавший ее путь Гоголя.⁶⁵

⁶⁴ Эту фразу из письма к о. Матвею Достоевский мог прочесть по изданию П. А. Кулиша: Записки о жизни Н. В. Гоголя... Т. 2. С. 140. Ср. у Достоевского: 5, 62; 8, 51.

⁶⁵ За рамками статьи остался важнейший аспект рассматриваемой темы — язык Гоголя у Достоевского не только раннего (см. работы В. В. Виноградова), но и позднего. Так, в повествовательном строе великих романов Достоевского расширяются возможности гоголевского сказа: характерный голос «коллективной подлости» (Г. А. Гукровский), перемежаясь с разнообразными «словесными масками» автора (В. М. Маркович), создает специфический образ хроникера в «Идиоте», «Бесах», «Братьях Карамазовых». Эта проблема может быть рассмотрена в отдельной работе.